

H. P. ...
...
...

Станюкович К.М. Собр.соч. в 10 томах. Том 10 //Издательство «Правда»,
Москва, 1977
FB2: "Ustas ", 2006-08-04, version 1.0
UUID: 02D55643-1E37-4411-BFEC-8E5F5699F5BE
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Константин Михайлович Станюкович

Тоска

Содержание

I	.0005
II	.0008
III	.0011
IV	.0017
V	.0022
VI	.0024
VII	.0026
VIII	.0028
IX	.0038
X	.0041
XI	.0046
XII	.0050
XIII	.0051

**Константин Михайлович
Станюкович
Тоска
рассказ [1]**

Посвящается М.И.Полованиц

Перед рождественскими праздниками клипер “Нырок” стоял на неаполитанском рейде.

Было холодно и неприветно. Хлестал дождь.

По временам налетали шквалы, и “Нырок” изрядно клевал носом. Солнце изредка показывалось, пригревало и снова скрывалось за серыми облаками.

На клипере только что пообедали, как в кают-компанию вошел черномазый, красивый молодой неаполитанец Пепино.

Вздрагивая от холода в своем довольно легкомысленном пальтишке, Пепино стал просить, умолять, наконец требовать, чтобы офицеры купили у него превосходные кораллы, камеи, кольца и брошки, которые он показывал, открывая своей сухой, довольно грязной рукой небольшой ящик, полный соблазнами.

Никто не покупал.

Только два мичмана заглянули в ящик.

Но, вероятно, вспомнив, что в карманах у

них ни “чентезима”, они нашли, что кораллы неважные и не настоящие, и даже не спросили о цене.

Итальянец возмутился.

— Это не настоящие! — воскликнул он.

И он клялся, что таких кораллов нет нигде на свете.

И, истощив свое красноречие, он быстро “отошел” и уже добродушно и быстро затараторил о том, что не купить чего-нибудь для “*belle signore*” [2], как русские, было просто безумием со стороны офицеров.

— Не то, — возбужденно кричал он, — бедные синьоры проплачут свои глазки на своем дальнем севере оттого, что они так бессовестно забыты своими друзьями, — подчеркнул он, лукаво и весело подмигивая черным глазом.

Однако его угрозы не действовали даже на пожилых соломенных мужей-моряков.

Тогда Пепино, полный уверенности, воскликнул, что русские синьорины, конечно, разлюбят офицеров, если они не привезут какого-нибудь сувенира из Неаполя.

Мичмана только расхохотались.

Зато старший офицер и старший механик не смеялись, но любопытнее заглядывали в ящик итальянца и, казалось, при публике не хотели покупать.

Тогда итальянец, видимо потерявший терпение при виде такой глупости русских, бешено крикнул что-то, вероятно, не особенно лестное для моряков и, негодующий, выбежал из кают-компания на верхнюю палубу соблазнять матросов.

Матросы добродушно и ласково потрепывали по спине итальянца, говорили ему: “бон” и больше мимикой, чем словами, объясняли, выворачивая карманы, что денег нет.

— Аржану-но. Понимаешь, черномазый?

Пепино добродушно смеялся, тоже ласково трепал по спинам матросов, показал маленькую серебряную монету и старался пояснить, что довольно и этой монетки, чтобы купить какую угодно вещь. Нечего и говорить, что эти торопливые слова подкреплялись необыкновенно выразительными пантомимами и жестикуляцией Пепино.

Пожилой, рыжеватый боцман Антонов подошел к итальянцу и несколько застенчиво стал спрашивать цену маленького кольца.

Пепино запросил двадцать франков, показав два раза свои грязные пятерни.

В ответ боцман обругал непечатным словом итальянца и показал свои два просмоленных корявых пальца.

Подвижное лицо итальянца выразило изумление.

— Только для “russo” продам за десять! — воскликнул итальянец.

И Пепино решительно сунул кольцо в карман штанов боцмана.

Взвизгивая, чуть не умоляя, он частью словами, частью жестами старался объяснить, что у него дети, и что он еще не обедал.

— Манжаре, это значит черномазый на счет еды! — не без апломба проговорил подошедший курчавый, черноволосый фельдшер.

Кончилось тем, что итальянец отдал кольцо за два франка.

— Еще итальянцы, а жулики, — проговорил фельдшер.

— Наших, что ли, мало! — раздраженно бросил боцман. И строго прибавил: — Везде, братец ты мой, манжарить нужно. Или тебе это невдомек, фершалу? А еще тоже образованный.

И, стараясь скрыть довольную улыбку от покупки, боцман завернул кольцо в конец шейного платка.

— Это вы для кого, Арсентий Иванович?

— Для тебя, умника, — резко оборвал боцман, — тоже тебе, хорьку, все пронюхать на-

до, — прибавил боцман.

— Я по своему рассудку сам могу понять, для кого купили супирчик! — конфиденциально произнес фельдшер и прищурил свои плутоватые, быстрые и несколько наглые глаза.

— Ты зря не виляй хвостом. Так-то лучше, Абрамка; от твоего любопытства чутье пропадает... Еще помрешь, — усмехнулся боцман.

— Не бойтесь, Арсентий Иванович, я знаю, про что знаю. Слава богу, тут-то у меня есть, — указал фельдшер на свой лоб.

— И знай, пока морда цела! — вдруг окрысился боцман.

— То-то и видно ваше необразование, а туда же супирчики! — не без снисходительного презрения произнес фельдшер и однако благоразумно улизнул.

— Сволочь! — кинул вслед ему боцман.

В эту самую минуту мелкими шажками приблизился среднего роста довольно видный, полноватый человек, свежий, румяный, гладко выбритый, с пушистыми, приподнятыми кверху усами. На толстом мизинце сверкал маленький брильянт. Это был Петр Иванович Приселков, старший судовой врач на “Нырке”.

— А ты что же, Антонов, не явился ко мне показаться?

— Запомятовал, вашескобродие.

— Скажите, пожалуйста, отчего же это ты мог запомятовать, а сам же жаловался. Ступай сейчас в лазарет, осматрю.

И они спустились вниз на кубрик, в маленькую каютку, где был лазарет.

— На что же именно ты, братец, жалуешься? — мягко и искусственно ласково спросил Петр Иванович, слегка вытягивая грудь и принимая серьезный вид авгура.

— Внутри ничего не оказывает, вашескобродие.

— Да где же “оказывает”?

— Нигде, вашескобродие. Тоской болен.

— Тоской? — удивленно спросил доктор, — отчего же ты тоскуешь?

— Смею доложить, вашескобродие, ото всего.

— Как от всего? Например? Рассказывай.

— Самые, можно сказать, нудные мысли лезут в голову, так ее и сверлят.

— Гм... — глубокомысленно протянул Петр Иванович. — Так сверлят?

— Точно так, вашескобродие. Ровно бурав в башке.

— Ты говоришь — бурав? И часто?

— Чаще по ночам, вашескобродие.

— Д-а-а. Ложись, я тебя осмотрю.

Но, прежде чем лечь, боцман возбужденно и быстро стал говорить какую-то чепуху, среди которой вырывались и самые здоровые речи. Подавленный боцман быстро лег на койку и несколько испуганно взглянул на доктора возбужденными глазами. Казалось, больной испугался доктора главным образом оттого, что Приселков заговорит боцмана.

Недаром же Петра Ивановича матросы называли “стрекозиным старостой” и не без ос-

нования считали, что он “очень о себе полагает”, так как был уверен, что он самый башковатый человек на свете.

— Ну, рассказывай, Антонов.

— Насчет чего, вашескобродие?

— И глупый же ты, Антонов; по порядку рассказывай, где и как у тебя болит.

— Я уже обсказывал вашему скобродию, что форменно ничего не болит, только в башке сверлит.

— Когда же это началась?

— Еще в Кронштадте; все беспокойная дума донимает.

— Насчет чего?

— А насчет всего; одна тоска, и никуда от нее не уйдешь. Даже перестал настояще заниматься службой. И прежнего форца нет, и форменно матрозню не привожу в чувство, даже ругаюсь без всякого старания. А, кажется, знают боцмана: в струнке держал, а теперь — одна скука.

— Так ведь это, Антонов, хорошо, что ты перестал быть идолом, по крайней мере перестал быть грозой.

— Хорошего-то мало, вашескобродие, когда

заболел тоской. Особенно по ночам тяжело, и такая-то глупость лезет в голову, что и не об-сказать. И все будто и перед людьми виноват и других виноватишь. Будто вовсе люди бро-сили без всякого внимания. Обижают своего же брата. Отчего это без обиды никак не про-живешь?

— Да кто же тебя притесняет? — удивился доктор.

Боцман чуть было не сказал: “Да твоя же глупость”, но вместо этого с страдальческой улыбкой проронил:

— Никто, вашескобродие.

“А то заговоришь”, — решительно подумал боцман и прибавил:

— Так извольте осматривать, вашескобродие.

— А ты, братец ты мой, не учи меня, я и сам знаю, на то я и доктор, а ты матрос.

— Слушаю, вашескобродие, — промолвил боцман, и в его глазах промелькнула лукавая усмешка.

Петр Иванович заметил это и озлился.

— Ноги подыми.

И с этими словами Петр Иванович присел

на койку, выслушал сердце и грудь, потрогал живот и, поднявшись, сказал:

— У тебя все в порядке. Скоро поправишься. Тебе надо отдохнуть, и всякая тоска пройдет.

— И чудные мысли пройдут, вашескобродие? — возбужденно спросил больной.

— Разумеется. Главное — будь спокоен и ни о чем не думай.

— Уж пропишите лекарство насчет того, чтобы ни о чем не думать, вашескобродие.

— Пропишу. А пока я отправлю тебя на берег, в Неаполь. Там тепло и солнце. В итальянском госпитале тебе будет хорошо, покойно; людей, которые тебя так раздражают на клипере, не будет. Ты отлежишься там месяца два и выйдешь таким же отличным, старательным боцманом, как и был.

— Слушаю, вашескобродие. Только не лучше ли будет поправка, ежели прикажете меня отправить в Кронштадт; по крайности свои люди присмотрят.

— Вишь ты какой, больной, а воображаешь, что можешь учить. Говорю, ни о чем не думай.

Боцман внезапно раздражился и, видимо сдерживаясь, почти крикнул:

— И умные же вы, господа, наскрозь понимаете, а вот был Вячеслав Оксентич, наш старший врач, царство ему небесное, так он всякого больного понимал, а главная причина — добер был, да и ума был большого, а не гордился.

Петр Иванович сделал вид, что не слышал этих слов, и, обращаясь к вошедшему фельдшеру, приказал:

— Дать ему порошки, которые прописал, да смотрите, чтобы боцман больше лежал на койке, и вечером доложите мне.

С этими словами Петр Иванович пошел к капитану и доложил ему, что боцман прихворнул и его надо отправить отдохнуть на берег.

IV

— Да чем он болен? — спросил капитан. — Кажется, здоровый человек.

— У него маленькое переутомление, Александр Александрович, “neurastenia cerebralis” [3].

— Какое еще переутомление у матроса?

— В коротких словах это значит, что нервы, функционирующие на органы речи...

И Петр Иванович с необыкновенным апломбом стал было продолжать длинную лекцию, но капитан сказал, что ему нужно сию минуту ехать на берег.

— Да я все равно нехорошо пойму то, что вы, доктор, мне расскажете. А по-моему, разнести бы боцмана, он бы и поправился, а то нынче все нервы, даже и у матросов.

— Такие времена, Александр Александрович. Наука говорит, что таких людей нужно лечить. По моему мнению, боцман на берегу скоро поправится. Главное — спокойствие. Он просится в Кронштадт, но едва ли Италия не будет для него полезнее. Во всяком случае проживет месяц-другой в госпитале в Неаполе.

Капитан знал, что Петр Иванович был довольно ограниченный человек, влюбленный в себя. И, что всего ужаснее, считал себя необыкновенно умным и знающим и нередко раздражал своими словами даже не нервных людей.

— А не лучше ли отправить его в Кронштадт, доктор?

— Как угодно, Александр Александрович.

— Да я спрашиваю, не как мне угодно, а как лучше, — раздраженно воскликнул капитан.

— Я уже доложил вам свое мнение, кажется. Как доктор, занимавшийся много лет, знаю, что лучше и что хуже. Вот почему я и говорю вам, что боцмана надо отправить на берег.

— Ну что же, отправляйте. Не пропадет ли он там?

— Я буду навещать его, Александр Александрович, пока мы будем здесь стоять, да и можно будет пускать к нему кого-нибудь из приятелей. Только у него их, кажется, немного на клипере. Беспокойный и не особенно приятный человек.

Когда доктор вошел в кают-компанию и сказал старшему офицеру о болезни боцмана, Иван Иванович, приземистый брюнет лет сорока с сердитым, некрасивым, раздраженным лицом педанта старшего офицера, по-видимому, особенно близко принявший к сердцу положение боцмана, возбужденно воскликнул:

— Да за что же вы присудили, доктор?

— Как присудил?

— Да хуже чем к одиночному заключению. Разве человека не понимаете? Ведь он с тоски и в самом деле свихнется. Один, один, да еще среди чужих людей! И это вы называете спокойствием! Помилосердствуйте, доктор! Пусть боцман пока останется в лазарете на клипере, а если не поправится, отправим его в Кронштадт.

Доктор слушал старшего офицера с снисходительной усмешкой.

— Удивительное дело, ведь я не смею говорить о морском деле, которого не понимаю. Я не говорю ни об астрономии, ни о механике, ни о теории ураганов. А нет человека, который бы не говорил о медицине, особенно бабы, не считал бы себя вправе критиковать ле-

чение врачей и не ругал бы их. Я, слава богу, учился и много работал, и, кажется, знаю, что делаю.

И, словно бы желая еще больше сорвать сердце на возмущающее его нахальство публики, еще безапелляционнее и докторальнее произнес то, что едва ли бы сказал, не встретивши противоречия со стороны профана.

— Вы, Иван Иванович, думайте с капитаном как вам угодно, а я считаю долгом сказать, что не отвечаю за выздоровление больного, если он не будет немедленно же отправлен на берег.

— Будто бы? — раздался с конца стола насмешливый голос мичмана Коврайского.

— А вы врач, что ли?

— Считаю себя только не влюбленным в себя авгуром и только мичманом.

— И надо об этом помнить.

— И помню.

— Как видно, забываете. Впрочем, это общее правило: каждый безусый мичман думает, что он все знает. Это — в порядке вещей.

— Как и в порядке, что жрец считает себя непогрешимым.

Уже спор готов был разгореться, как старший офицер приказал Коврайскому немедленно приготовить баркас и отправляться на нем с больным на берег.

— Да как же, Иван Иванович. Доктор, смилуйтесь!.. Тоже у меня был дядя с переутомлением, и тоже его отправляли из Петербурга для отдыха в Италию. Нарвался на врача, который был глуп как сапог. Хорошо, что дядя пробыл в Италии только три месяца. Там совсем пропадал без шельмы-тетеньки и без обычной обстановки и догадался удрать.

Старший офицер беспокойно заерзал плечами.

— Надо уметь исполнять приказания, чтобы заставить слушаться. Пожалуйста, отправляйтесь с больным, — строго прибавил Иван Иванович.

Таким образом, благодаря самолюбиям доктора и старшего офицера, боцман через два часа был в неаполитанском госпитале.

Когда боцмана привезли в госпиталь, он как-то страдальчески взглянул на мичмана и сказал:

— Спасибо, ваше благородие. Хотят меня доконать. Нечего сказать — умники!

А мичман, словно бы виноватый, сказал боцману:

— Да ведь я, голубчик, не виноват.

— Никто не виноват, ваше благородие. Оказывается, виноватый один я, и по своей же глупости.

— По какой глупости?

— Да тоже полагал, что есть такие, как Вячеслав Оксентич, а главная причина — очень уж полагают о себе глупые люди; оттого им и самый полный ход. Навестите когда, ваше благородие.

С этими словами боцман вошел в небольшую, очень чистую комнату.

Из открытого окна врывались снопы яркого солнца.

К больному подошла высокая, белокурая немка и нежным, слегка аффектированным

голосом проговорила по-французски, указывая на кровать:

— Вот ваше место. Сейчас же ложитесь. Доктор сию минуту придет осмотреть вас. Вы здесь скоро поправитесь.

— Что она лопочет, ваше благородие, эта долговязая?

— Она успокаивает тебя, говорит, что здесь поправишься. Видишь, как здесь чисто.

— В тюрьме еще чище, ваше благородие.

Боцман, едва сдерживая себя, проговорил:

— Я их, подлецов, больше просить не буду. И без них улепетну... Крышки не же-ла-ю... — и внезапно заплакал.

Мичман стал было успокаивать больного, но он внезапно раздражился и сказал:

— Бросьте, ваше благородие, прежде ума припасите.

Особенно тяжела была для больного ночь. Сон не приходил, и больной в полутьме электричества возбужденно оглядывал комнату.

Из окна доносился гул бушующего моря.

Боцману казалось, что он один и никуда отсюда не выйдет, и его забыли, и в голове его пробегали мысли о прошлой жизни.

Был он матросом форменным, но все-таки не было ему никакой задачи. Вместо службы была одна тоска. То попадался мордобой-капитан, то ревизор неправильно кормил матросов, то с углем выходили зазорные дела, то старший офицер зудил зря.

Антонов не раз толковал об этом на баке и раза два подавал претензии адмиралам. За все это боцмана считали беспокойным человеком и наказывали.

Он понимал, что все-таки держали его боцманом только потому, что он был усердный и хороший боцман, и придраться к нему было нельзя.

Особенно тосковал больной в эту ночь по

Кронштадту. Там, — думал он, — было бы так хорошо ему, уютно в своей комнате, которую нанимал у сестры.

Там жила и Степанида Андреевна, прачка. Они вместе с сестрой держали прачечное заведение, а боцман помогал им: разносил белье по давальцам и писал счета.

И сестра и Степанида вспоминались ему, как необыкновенно добрые и приветные женщины. Он, напротив, считал себя грубым и вздорным и вспоминал, как, возвращаясь нередко не в своем виде, обижал и сестру и Степаниду.

И больному все эти несправедливости представлялись несравненно сильнее, и себя он считал безмерно виноватым. “Сам же я и есть скот настоящий”, — думал он и просил бога, чтобы он избавил его от тоски.

— Хоть бы доктор дал лекарство от нее! — громко говорил он и в то же время сознавал, что никакой доктор от тоски его не избавит.

В маленькой комнатке становилось темней. В голове больного точно сидел гвоздь, и он вскрикивал:

— Уберите меня, уберите!

Предметы в комнате представлялись больному какими-то странными, и он испытывал ужас одиночества.

Казалось ему, что и сестра, и Степанида, и закадычный его приятель Ипатка, старый баковый матрос с “Нырка”, позабыли о нем.

Он забыт всеми, и один, один, постоянно один.

А давно ли они вместе с этим Ипаткой балакали и по праздникам после чаю распивали не один полуштоф?

В такие минуты друзья его казались больному большими обидчиками; он раздражался и называл обидчиков свиньями.

— А еще называли своим добрым приятелем! Кто их тянул за языки?

Но проходило мгновение, больной одумывался и снова раздумчиво и внимательно вглядывался в полутьму.

Тоска охватывала его все сильнее и сильнее.

“Черти вы и есть”, — уже совершенно здраво подумал боцман, вспоминая и доктора, и капитана, и многих офицеров, и сестру, и Степаниду.

— Вот поправлюсь, явлюсь на “Нырок”, отслужу на клипере свой срок — и в отставку.

И ему представлялось, что в отставке, на берегу, жизнь будет совсем другая, чем на судне. И он будет при деле, и люди будут лучше.

И не надо обижать, а главное — не врать.

— Небось, сестра всегда оказывала своему брату приверженность. Ты, мол, один мой верный сродственник... И Степанида называла добрым человеком. А как этот самый верный сродственник и добрый человек — один как перст и без всякого призора, так хоть бы весточку прислали. Форменные бабы и оказались. Небось, сестра давится деньгами от давальцев.

А точно гвоздь так и сверлил его голову.

Наконец больной заснул. Но сон его был прерывистый и необыкновенно чуткий.

VIII

— Братцы, спасите! — раздался из соседней комнаты тихий голос.

Боцман присел на койке и стал прислушиваться.

— Братцы, помогите! — громче сказал кто-то.

В соседней комнате раздались мягкие шаги, слышался тихий женский голос, и крики стихли.

— Верно, милосердная... только как наш русский понимает ее?

И боцман, обрадованный, что рядом с ним русский, направился к двери; но в эту минуту вошла белокурая немка и своим слегка гнусавым, искусственно ласковым голосом проговорила, указав на койку:

— Спите, спите, вам лучше будет.

Но голос сестры, вместо того, чтобы успокоить больного, только раздражил его.

И он насмешливо промолвил довольно громко:

— Чего ты зудишь, белобрысая? Лучше помалкивай. Дрыхни сама.

Сестра Анна еще настойчивее повторила:

— Dormez, dormez! [4]

— Форменная ты дура и есть. Дрыхни сама.

Немка погладила боцмана по голове.

Он резко отдернул голову и сказал:

— Проваливай, проваливай. Я и без тебя дорми; только бы бог дал сна.

Сестра стала успокаивать по-французски боцмана.

Но он сердито махнул рукой и отвернулся от нее.

— Братцы, голубчики! — снова слышался голос из соседней комнаты.

И сестра исчезла.

“Тоже поправку выдумали; доктора законопатили. Надо проведать соседа. Верно, утром пустят, а не пустят, я без спроса пойду. По крайности будем не одни здесь русские”.

Наступила тишина. Сосед смолк.

Скоро заснул и боцман, но ненадолго.

Пришла немка и, увидав, что он лежит в платье, разбудила боцмана и показала ему, что надо раздеться и лечь.

— Опять зазудила. Тоже вроде нашего доктора.

Однако боцман, приученный долгой флотской службой к дисциплине, тотчас же разделся и лег в постель.

Сестра затушила электричество, и в комнате воцарилась темнота.

А боцман чувствовал себя еще беспомощнее, и ему казалось, что теперь он окончательно всеми забыт.

Сон не приходил. И в голове боцмана пробегали мысли о том, как хорошо быть в Кронштадте и побалакать с умной Степанидой насчет того, как правильно жить на свете и почему в мире так много зла.

Из окна сильнее доносился гул моря.

— Небось, в море погода. Видно, “зарифимшись” “Нырок”.

И прежний лихой боцман представлял себе, что, верно, на “Нырке” взяты рифы, и он дует под тремя рифами, и подвахтенные уже спят в койках.

И боцман, уже во сне, рассыпал артистическую ругань, вызывая подвахтенных наверх брать четвертый риф.

На другое утро, когда слабый свет проник в комнату, боцман проснулся и, увидав себя в

непривычной обстановке, сообразил, где он, и воскликнул:

— Крышка!

“Сегодня же надо утекать отсюда”, — подумал он и, открыв окно, жадно вдыхал свежий, острый воздух раннего утра.

Солнце только что поднялось из-за Везувия, и верхушки гор были в золотистой дымке.

Напротив слегка вырисовывался в тумане остров Капри. Раздавался тихий перезвон в церквах.

В госпитале было еще тихо.

— Ишь ведь, дьяволы, дрыхнут. Поди, не скоро дадут горяченького.

И боцман, словно зверь в клетке, шагал по комнате взад и вперед, и в голове его пробежали мысли о том, как он уйдет из госпиталя и явится на “Нырок”.

Там же, может быть, он узнает от ребят насчет того, как живут в Кронштадте сестра его Иренья и Степанида, как справляются они без него с бельем.

“Не вышла ли Степанида замуж?” — подумал боцман, и жгучее озлобление почему-то

охватило его.

— Бестолково бабье ведомство... Обязательно перепутают. Еще Степанида побашковатее, а сестра — вовсе дура. Воображает, что умна, все сама может. А главная причина — очень льстится на мужчин, — с раздражением проговорил боцман.

— Это ты про что, земляк?

С этими словами к нему вошел пожилой, чернявый, коротко стриженный русский матрос.

— Ты с какого судна?

— Боцман с “Нырка”. А ты?

— Рулевой с конверта “Грозящий”.

— Как тебя звать?

— Иван Поярков.

— Садись, — сказал боцман.

И земляки пожали друг другу руки.

— Ты чем же болен? — спросил боцман.

Лицо матроса было худое и землистое. Все черты были заострены.

В глазах горел лихорадочный блеск. Голос его был глухой.

— Грудью. Знобит все. Да здесь в тепле полегчает. Дохтур обещает, что выправит, —

уверенно и радостно проговорил матрос.

— Конечно, выправишься. Я служил на конверте с одним фор-марсовым; так он тоже был болен грудью и страсть как поправился, когда конверт вошел в теплые места. Теперь словно бык.

Матрос жадно слушал боцмана и видимо обрадовался.

— А как тебя звать?

— Арсентий-Иванычем зовут ребята.

— А ты по какой причине в госпитале?

— Зря. По чужой глупости. Ничего не болит, только тоска, а меня сюда законопатили. Скорей бы поправка мне вышла в Кронштадте, а вот дохтур не пускает.

И боцман, обрадованный, что может поговорить с земляком, да еще с матросом, как с ним “довольно глупо” поступили, и при этом дал не особенно лестные характеристики о докторе, капитане и многих офицерах.

— А у вас на конверте как?

Матрос сказал, что пожаловаться на начальство грешно. Капитан добер. Вовсе не наказывает линьками. И старший офицер не очень допекает, только любит чистить по

морде. Да только рука у него нетяжелая, и бьет без пыли.

— А как же он смеет, ежели такого положения нет? И сами вы дураки и есть, — вдруг прибавил боцман.

Матрос удивленно взглянул на боцмана.

— Нешто и ты, Арсентий Иванович, не учишь нашего брата?

— То-то я и был мордобоем; да, спасибо, нашелся человек. И ведь поди, с виду совсем плюгавый был, — шканечный, а вовсе осрамил, как из-за меня попал в лазарет. Совсем не мог вынести бою. А он же меня и спас, когда я упал за борт. Этим самым меня он и оконфузил.

— Ишь ты! — промолвил, вздохнув, матрос.

Земляки долго разговаривали.

Рулевой часто задышался и, полный надежды, рассказывал, как он поправится и вернется в Кронштадт. Там его ждет супруга. Еще недавно прислала весточку. Ждет не дождется. Без тебя, мол, болезного, места не найти.

— Можешь ли, Арсентий Иванович, понять, какая у меня молодчага матроска? Не то что

какие облыжные: на словах одно, а чуть ушел из Кронштадта — и сейчас, шельма, льститесь на другого. А моя, братец ты мой, форменно приверженная.

И лицо матроса дышало восторженностью, и в глазах его стояли умиленные слезы.

А боцман слушал, и почему-то этот восторженный матрос возбуждал в нем и обиду и зависть.

“Сердцем добер, так и верит другому сердцу. Брешет, верно, его матроска”, — подумал боцман.

Но ему не хотелось нарушить веры матроса, и он, не решаясь перед серьезно больным высказать свои взгляды на силу бабьей привязанности, осторожно спросил:

— Небось, зовет тебя в Кронштадт?

— Звала, даже очень звала. Приезжай, мол, я за тобой как нянька буду смотреть. Да потом спохватилась. Тебе, мол, тепло нужно. Вот если бы перевестись в черноморский флот, так она бы обязательно приехала в Севастополь.

“Ладно, приедет к тебе”, — подумал боцман и спросил:

— Насчет этого отписывал ей?

— Отписывал.

— Что же она? — возбужденно и жадно спросил боцман.

— Рада, очень рада, да сомневается, как бы уж вышел перевод. Ну и опасается бросить Кронштадт. А ведь она там торговкой на рынке.

В эту минуту боцман вспомнил, что и его звали в Кронштадт, и точно так, как и Пояркову, советовали скоро не возвращаться.

“Брешет”, — озлобленно подумал боцман и с особенным участием стал подбадривать рулевого. Он говорил, что больной скоро пойдет на поправку, его переведут в Севастополь, и жена тотчас же приедет к нему.

— Всего ведь восемь рублей переехать. Небось, найдет.

Больной любовно смотрел на боцмана и предложил ему, коли нужно, написать весточку в Кронштадт.

— Некому, — резко ответил боцман.

— Разве, Арсентий Иваныч, ты одинокий?

— Одинокий.

— Трудно, должно быть, одинокому, Арсен-

тий Иваныч. То-то ты и не подаешь претензии на доктора. А то должны отправить. Нынче ведь права.

— Там видно будет. И давно ты женатый?

— Шесть лет, Арсентий Иваныч.

— Давно. По нынешним временам и вовсе много. А ты ишь какой благополучный.

И в голосе боцмана звучала завистливая нотка.

— Пофартило, Арсентий Иваныч. Да и чего, ежели по правде говорить, меня обманывать? Не привержена, так прямо и скажи. Больно, да зато сразу. По крайней мере совесть есть.

— Тут, братец ты мой, совесть совестью, а есть и другая загвоздка. Есть и такая баба, которая по совести виляет хвостом, и привержена, мол, а затем: простите, мол, ошиблась, очень, мол, душе больно. И духу в ей не хватает, что так, мол, и так — кум есть. А понять не может, как обидно, что она замечает хвосты. Да еще и тебя обвиноватит; ты, мол, зря обнадёжен, не понимаешь, мол, какая я распронесчастная баба. И взаправду беда ей.

Прошло три дня.

Боцману стало лучше. По ночам он тосковал по-прежнему, но галлюцинаций не было. Доктор “Нырка” раз посетил боцмана и сказал ему, что он глядит совсем молодцом. Скоро будет здоров вполне.

“Так и ври, зуда. От себя не убежишь”.

И, обратившись к доктору, сказал:

— Дозвольте явиться на “Нырок”.

— Как, что, почему? — засуетился доктор. — Ведь я тебе говорил, что здесь лучше. Разве здесь нехорошо?

— Дозвольте явиться на “Нырок”, — снова и уже настойчиво проговорил боцман.

— Нельзя, хуже будет.

— Дозвольте, вашескобродие.

— Никак не могу.

— Я тоже, вашескобродие, не могу. По моему малому рассудку без вашего дозволения уйду. Явлюсь к старшему офицеру и отлепORTую.

Доктор внимательно взглянул в глаза боцмана, и, казалось, в глазах больного не было

ничего такого, что могло бы грозить больному еще сильнейшим расстройством нервов. И доктор наконец сказал:

— Ну и черт с тобой. Но помни, если кому-нибудь сдерзничает, с тебя строго взыщут. Это — не берег.

— Очень хорошо понимаю, вашескобродие.

— И в Кронштадт тебя не отправят. Буду лечить тебя на клипере.

Часа через два за больным приехал мичман Коврайский.

Боцман обрадовался.

А Коврайский тоже радостно сказал:

— А я, Антонов, уже говорил и старшему офицеру и капитану насчет отправки тебя в Кронштадт. “Грозящий” уходит через два дня в Россию.

Но, к удивлению мичмана, боцман не только не обрадовался, но стал угрюмее и мрачнее.

— Много вам благодарен, ваше благородие, но только, может, я в Кронштадт и не желаю.

— Не желаешь? — изумился мичман, уже

кое-что прослышавший от фельдшера, почему именно так тянет боцмана в Кронштадт. — Да ведь ты просился?

— А теперь не желаю, ваше благородие.

— Ну, как знаешь. Только смотри, голубчик, не надрывайся на клипере; все-таки отдохни, в лазарете отлежись.

— Нет уж, ваше благородие, лучше при деле буду, а то доктор заговорит, ваше благородие.

— Ну, как знаешь, а если хочешь, тебя флагманский доктор посмотрит. На днях адмирал будет в Неаполе.

— Что смотреть, никакой доктор не поможет от тоски, — проговорил боцман, и голос его звучал такой тоской, что мичман не смел больше ни о чем его расспрашивать.

Х

Матросы боцмана встретили приветливо. Старший офицер приказал ему все-таки отдохнуть и лечь в лазарет. Но боцман решительно просил править свою должность.

— А то, вашескобродие, без дела опять заболеешь.

— А что, доктор позволил?

— Никак нет, вашескобродие, обсказал: ложись в лазарет.

— Так как же я отменю распоряжение доктора?

— Дозвольте, вашескобродие.

— Ну, подожди. Я прежде переговорю с доктором, а в госпитале тебе, конечно, было скверно.

— Еще бы, вашескобродие.

— Я постараюсь отправить тебя на родину.

— Нет, вашескобродие. Пока что до отправки останусь.

— Не тянет?

— Везде одна тоска, вашескобродие.

Старший офицер участливо взглянул на боцмана и спросил:

— Ты ведь, кажется, не женат?

— Точно так, вашескобродие.

— Оно и лучше, братец ты мой.

И как-то грустно прибавил:

— Тоже не всегда и женатому хорошо.

— Точно так, вашескобродие. Видел в Кронштадте, как живут семейные люди. Одна пакость. Обманывают друг друга в самом лучшем виде. По-собачьи живут.

— А ты думаешь, почему?

— Облыжности много, вашескобродие. Больше по своей мужчинской подлости и почитают бабу. Оттого между ими ничего кроме этой самой подлости и нет.

И боцман, словно бы решая какой-то занимающий его больной вопрос, спросил:

— Осмелюсь спросить, вашескобродие, верно, у господ семейные люди живут не по-собачьи?

— Ишь ты какой любопытный. А ты как думаешь?

— Полагаю, что всякие и между господ, вашескобродие.

— Правильно. Часто люди зря женятся... — задумчиво промолвил старший офицер, се-

мейная жизнь которого была далеко не из сладких.

— И нет друг о друге настоящего понятия. А главное — ни за что друг друга обижают!.. Так дозвольте не идти в лазарет?

— Ну ладно. Знаешь, что я тебе скажу, Антонов, лучше и ты не сделай глупости, — полушутя, полусерьезно сказал старший офицер.

— Какой, вашескобродие?

— Не женись. Очень уж у тебя обидчивый и подозрительный характер.

Боцман вспыхнул.

— Какая дура польстится на старого человека, вашескобродие?

— Зато старые сами льстятся.

— Дураки и есть, вашескобродие. Зато их и обчекрыживают. И поделом, а главная причина — понимай, кто ты такой есть, и ушей не развешивай.

Старший офицер, который сам очень развешивал уши, когда его молодая, пригожая жена, провожая в дальнейшее плавание, особенно горячо уверяла в своей любви и вскоре по уходе мужа написала ему письмо, в котором в

довольно туманных выражениях намекала, что она, к сожалению, не так сильно любит его, и уверяла в своей безграничной дружбе, — старший офицер, словно бы понимавший, что и боцман находится в том же положении, как и он, проговорил, напуская на себя решительный вид:

— Вот и молодчага, так с бабами и надо действовать. Если она тебя “обчекрыжила”, ты и наплюй.

“Ты-то плюнул... Вовсе вроде как бы подвахтенный у своей женки; она ему пишет-пишет, а он верит и ей отписывает письма; из каждого порта депешу да депешу, и супруга депешу, и оба не по-настоящему. И отчего это люди так врут?” — подумал боцман и доложил старшему офицеру, принимая официальный вид:

— Прикажете, вашескобродие, ванты тянуть? Дали ослабку.

— Да уж ты пока оставь, я прикажу Иванову. Ну, ступай; чуть станет тебе хуже, скажи мне.

— Есть, вашескобродие.

И боцман вышел из каюты старшего офи-

цера.

А Иван Иванович присел у письменного стола, любовно взглянул на большую фотографию, висевшую над койкой, потом прочитал несколько писем жены и произнес:

— Вот почему теперь о дружбе. Верно, новое увлечение. В этом вся и разгадка.

И Иван Иванович задумался.

XI

Должно быть, боцман сильно понадеялся на свои силы, распоряжаясь работами, потому что к вечеру почувствовал себя усталым, и главное — в уме его мысли как будто путались и зрение мутилось.

Приехавший с адмиралом флагманский врач вместе с Приселковым осмотрел боцмана.

К вечеру к боцману зашел старший офицер и сказал:

— Ну, братец ты мой, они решили, что тебе на клипере оставаться нельзя. Лучше тебе снова на берег, в госпиталь.

Боцман опешил. Несколько секунд он молчал и только подозрительно пристально смотрел на старшего офицера.

И, внезапно охваченный бешенством, он, стараясь сдержаться, воскликнул:

— Это по каким же правам, вашескобродие? Бабьи штуки, что ли? Так я на это не согласен, вашескобродие! Вы с ими заодно? Думаете, я — нижний чин, так можете тиранствовать человека. Я права найду! — и почти

бешено крикнул: — Вон!

И прибавил непечатное слово.

На кубрике и на палубе ахнули.

В ту же минуту сверху прибежал унтер-офицер и сказал старшему офицеру:

— Адмирал требует.

А на мостике низенький, худощавый и строгий адмирал раздраженно и резко говорил капитану:

— Это у вас что за безобразие? Вот до чего распущена команда! Такая неслыханная дерзость. Немедленно его в карцер и отдать под суд. Вы на что тут старший офицер? — крикнул адмирал подошедшему Ивану Ивановичу.

— Он — сумасшедший, ваше превосходительство, — почтительно ответил старший офицер.

И в ту же минуту вспомнил письмо жены и подумал, что он сам, как и боцман, может сойти с ума.

— Пусть доктора осмотрят. Если он сумасшедший, то почему вы его держали на клипере? — обратился адмирал к подошедшему доктору.

— Он — не сумасшедший.

— Так, значит, бунт?

Старший офицер взглянул на доктора, и презрение стояло в глазах моряка. “Ученая скотина”, — подумал он и доложил адмиралу:

— Разрешите, ваше превосходительство, до нового осмотра докторов не садить боцмана в карцер. Я его хорошо знаю. Он не позволил бы себе такой выходки, если бы был здоров.

— Это черт знает что такое! На военном судне — и такое вопиющее нарушение дисциплины.

И, после секунды раздумья, адмирал прибавил:

— Конечно, я был бы очень рад, если бы вы, доктор, ошиблись, и боцман оказался бы сумасшедшим. Пусть его сейчас осмотрят. — И с этими словами адмирал спустился.

— Ведь иначе бедняге пришлось бы подвергнуться жестокому наказанию. По закону — смертная казнь, — проговорил капитан.

Мичман Коврайский восторженно взглянул на уходящего адмирала и, взволнованный, умоляюще прошептал доктору:

— Что вы хотите делать? Ведь адмирал вам подсказывает: найдите больного сумасшедшим.

— Это уж не мое дело. Я высказал мое мнение, как велит мне наука.

— А совести у вас нет? — чуть слышно, возбужденно прибавил мичман и бросился к старшему офицеру.

— Иван Иванович, спасите человека.

Старший офицер ласково взглянул на мичмана и строго сказал ему:

— Скажите боцману, что его сейчас осматривают. — И тихо прибавил: — Успокойте беднягу, он ведь к вам, кажется, расположен.

Через час в лазарете собрался консилиум. При освидетельствовании боцмана были адмирал, капитан, старший офицер и мичман Коврайский.

На все вопросы флагманского врача о здоровье боцмана, тот отвечал вполне здорово, только несколько возбужденно.

— Я уже докладывал вам, Александр Александрович, — не без апломба проговорил Приселков, обращаясь к капитану.

Все молчали.

Только адмирал недовольно пожал плечами и сказал:

— Во всяком случае пока не сажайте его в карцер.

И, обратившись к флагманскому доктору, по-французски сказал:

— По-моему, он сумасшедший.

— И я так думаю, ваше превосходительство, — поспешил поддакнуть старший флагманский врач.

XIII

В тот же день боцмана допрашивала следственная комиссия. Большинство членов ее признало, что преступление было совершено в припадке умопомешательства.

— Вы видите, милый мичман, спасли человека, — сказал потом в кают-компании старший офицер.

— Спасли ли только? Ведь от тоски он все-таки не избавится.

— Да и в Кронштадте ему не радостная жизнь. Бедняга! — угрюмо прибавил старший офицер.

Примечания

Впервые — в газете “Русские ведомости”, 1903, №№ 63, 67.

[^^^]

“Прекрасной синьоры” (итал.).

[^^^]

“Неврастения мозга” (лат.).

[^^^]

Спать, спать! (франц.)

[^^^]